

С. Ф. ЕЛЕОНСКИЙ

ИЗ НАБЛЮДЕНИЙ НАД ЯЗЫКОМ И СТИЛЕМ «ПУТЕШЕСТВИЯ ИЗ ПЕТЕРБУРГА В МОСКВУ»

К изучению художественного своеобразия книги
А. Н. Радищева

1

В 1801 году, за год до смерти, А. Н. Радищев написал стихотворение, в котором приветствовал наступление «утра столетия нова» и окидывал взором судьбы минувшего века. Это последнее законченное произведение Радищева — «Осьмнадцатое столетие». Деятель и писатель XVIII века, не переживший его и двумя годами, отозвался о нем на прощанье глубоко прочувствованными и неожиданно благодарными строками:

Нет, ты не будешь забвенно, столетье безумно и мудро...
О незабвенно столетье! радостным смертным даруешь
Истину, вольность и свет...

Так оценил и осмыслил значение исторического опыта и богатого идеологического наследства восемнадцатого столетия писатель, творчество которого само, можно сказать, явилось итогом развития всех подлинно прогрессивных тенденций предшествовавшей ему русской литературы и предвестием ее дальнейшего освободительного пути.

В сочинениях А. Н. Радищева получили свое наиболее полноценное выражение, а частью и завершение, характернейшие особенности и линии развития передовой русской литературы до начала XIX века. «Путешествие из Петербурга в Москву» как центральное произведение Радищева характеризуется не только замечательно правдивым отражением массовой борьбы, но и глубокой идейной связью с самобытными, исконными традициями русского фольклора и древнерусской литературы.

2

В последние десятилетия XVIII века в самых различных кругах русского общества пробудился интерес к народной поэзии. Народные песни и пляски вошли в моду даже при дворе и у придворной знати.

Поэтами писались на заказ для дворцовых праздников стихотворения с фольклорной тематикой.

Разработкой народно-поэтических тем занялись многие дворянские писатели, однако в большинстве они не шли дальше внешнего перенимания отдельных приемов песенной и сказочной поэтики, и лишь немногие из них приближались к более зрелому осмыслению народности.

Глубокое же принципиальное обоснование идея народности впервые получила в литературных произведениях А. Н. Радищева.

Нет надобности вновь анализировать фольклорные мотивы «Путешествия из Петербурга в Москву», внимательно объясненные исследователями. Важно подчеркнуть лишь общий вывод, что автор «Путешествия» — единственный из русских писателей XVIII века усмотрел в народной поэзии, как подлинном голосе народа, высшую художественную и культурную ценность, выражение исторически сложившихся воззрений русского народа, источник для изучения «образования души нашего народа» (см. главу «София»).

Менее исследован вопрос о народности языка книги Радищева.¹ Между тем воспроизведенные в «Путешествии из Петербурга в Москву» образцы крестьянской речи по своей жизненности, естественности, верности народному разговорному языку являются шедеврами, не превзойденными никем из писателей-прозаиков XVIII века. Даже в лучших комедиях того времени, не исключая «Недоросля» Фонвизина, народная речь слышится только из уст крепостных слуг, второстепенных действующих лиц комедий, да отчасти «отрицательных» персонажей, причем в их языке с целью достижения комического эффекта намеренно сгущаются диалектные, провинциальные особенности и вульгаризмы. Напротив, в «Путешествии» Радищева крестьяне — это главные и положительные герои, и в их речах писатель стремится отразить красоту, живописность и богатство самобытного русского

¹ См.: Е. А. Василевская. Язык и стиль «Путешествия из Петербурга в Москву», «Русский язык в школе», 1949, № 4; Н. Ю. Шведова. Общественно-политическая лексика и фразеология «Путешествия из Петербурга в Москву». «Материалы и исследования по истории русского литературного языка», т. II, 1951.

народного слова. Влияние крестьянского языка, хорошо знакомого Радищеву, не могло не сказаться и на его авторской речи.

Так, народные пословицы и поговорки употребляются одинаково и изображаемыми в «Путешествии» крестьянами, и купцами, и приказными, и самим автором: «Куда глаза глядят», «На всякого мудреца довольно простоты», «Тише едешь, дале будешь», «Царь жалует, а псарь не жалует», «Не житье, а масленица», «Ходит повеся нос», «Пыль столбом». Встречаются и более редкие, но не менее колоритные пословицы и поговорки: «На казенные денежки дыр много», «По всем по трем вплоть до Питера». В главе «Новгород» приводится «старинная речь»: «Кто может стать против бога и великого Новагорода». В главе «Едрово» несколько раз повторяется пословица, произнесенная ямщиком и запавшая в памяти путешественника: «„Всяк пляшет, да не как скоморох“, — твердил я, вылезая из кибитки. . .», «Всяк пляшет, да не как скоморох“, — повторял я, наклоняясь. . .». В Любнях пашущий ниву крестьянин говорит не пословицами, но, беседуя с путешественником, отвечая на его вопросы, находит такие меткие выражения, которые сами просятся в пословицы: «У него (барина) на пашне сто рук для одного рта, а у меня две для семи ртов, сам ты щет знаешь. Да хотя растянься на барской работе, то спасибо не скажут. . .»

Автор вставляет иногда в свой рассказ и в разговоры действующих лиц народные эпические речения: «Очнуться от богатырского сна» («Подберезье»), «Не имеем нужды ходить в дальние страны, ни чудес искать за тридевять земель; в нашем царстве они в очью свершаются» («Вышний Волочок»), «Слыхом не слыхано и видом не видано» («Едрово»).

Он употребляет постоянные эпитеты («нраву крутого», «Аннушка, душа моя»), просторечные сравнения («как с кубарем», «как брюхатая баба»; сын, почитающий своего отца лишь «наследия ради», уподобляется «змие за пазухой»).

На «просторечие» как на один из источников своего стиля ссылается сам Радищев (в главе «Вышний Волочок»), он любит просторечие и не боится, подобно Карамзину, вводить в свое изложение грубоватые простонародные слова:² «чуть я не лопнул», «плюнул ему в рожу», «куда ни вертись», «кто тебя толкает в шею», «куды какой затейник», «кого черт не давит», «поворотя оглобли», «что за манер», «два крючка сивухи»,

² Н. М. Карамзин в письме 1794 года к И. И. Дмитриеву протестовал не только против слова *пот*, но и таких слов, как *барабаны*, *сломил*, *вскричал* (М. Погдин. Н. М. Карамзин, ч. I. М., 1866, стр. 233).

«шась в двери», «рот разинув до ушей, зевнул во всю мочь», «голова хуже болвана», «подтибрил» и т. п.

Если внимание и слух «путешественника» захватывали «голоса русских народных песен» (см. главу «София»), то так же чутко вслушивался он в звуки разговорной народной речи. Вот почему почти все диалоги отличаются в книге Радищева такой свежестью, гибкостью. В этом отношении особенно выдаются мастерски выполненные диалоги с пахарем из Любаней и едровской Анютой, очень тонко, без малейшей утрировки оттеняющие разницу «социальных диалектов» образованного «барина» и крестьян. В тоне легкой, остроумной беседы написаны авторские «разговоры с читателем» (в главах «Едрово», «Новгород»). Нельзя не отметить выразительности, законченности отдельных реплик, вводимых автором в повествование. Вот один пример: «Отдатчики рекрутские, вразумев моей речи, воспалиенные гневом, прискочив ко мне, говорили: „Барин, не в свое мешаешься дело; отойди, пока сух“...» («Городня»).

Так, средствами самобытного русского языка, создавалась реалистическая живопись «Путешествия из Петербурга в Москву». Свежая струя народной речи явилась одним из основных ресурсов, обеспечивших образам Радищева (преимущественно крестьянским) замечательную жизненность.

Этот источник не был, однако, единственным и нередко заслонялся другими влияниями.

3

Современного читателя «Путешествия из Петербурга в Москву» поражает изобилие архаизмов и славянизмов в языке книги, вышедшей из-под пера писателя-революционера. Действительно, церковно-славянскими словами и выражениями испещрен текст многих страниц и целых глав «Путешествия»: *пресеяло, ветр (ветр тихий, ветр надувающий), узрели, предтечи, воздвигнутся, всесовершенно, обрящешь, самыя* (род. пад. единств. числа), *алчба, ниже* (союз), *тако, толико, николи, яко, оным* и т. п. Наряду с приведенными словами, которых еще не чуждался литературный язык той эпохи (частью же и более поздней), Радищев пользовался словарем, типичным для древнерусской, преимущественно церковной, письменности: *отжену, отриновен, вождаем* (причастие), *воссядите, воскраие, помаваемое, живот* (в значении «жизнь»), *соборный* (в значении «общий»), *днесь, внезапно, аможе, убо, носяй, дски, жадая*. Он употреблял оборот с дательным самостоятельным («младенцам

вам сущим, находил я...» — глава «Крестыцы»),³ выражения, заимствованные из молитв («яко роса», «божества предвечного») или из проповедей («Да отверзутся темницы, да изыдут преступники и да возвратятся в дома свои...» — глава «Спасская полесть»). Он не избегал даже таких редких, а также искусственно архаизированных словообразований, как *сосестр* (род. пад. множ. числа), *по главе, изленение, пощение, умрети, позыбнется, несоплощай, радование, бдетельность*.

Может показаться на первый взгляд, что насыщенность языка «Путешествия из Петербурга в Москву» славянизированной лексикой и фразеологией свидетельствует о подчеркнуто консервативной ориентации автора в понимании вопросов развития современного ему русского литературного языка. На самом деле обращение Радищева к «славянщизне» имело совершенно иное идейное значение. Нельзя не согласиться с утверждением, что традиционные элементы языка древнерусской и славянской письменности он сознательно противопоставил тому «верхушечному жаргону», который становился модным в прозе и стихах дворянских писателей конца XVIII века, равнявшихся по заграничным авторитетам.

Такой «язык», претендовавший стать литературным, отверг Радищев, опираясь, в противовес, на национальные основы русской «словесности», которые он видел не только в народной речи, но и в «высоком слоге» «славяно-русского» книжного языка.

Основоположником русского «гражданского витийства» (т. е. красноречивой и возвышенной прозаической речи) Радищев считал Ломоносова. «Сравни то, — указывал он, — что писано до Ломоносова, и то, что писано после его, — действие его прозы будет всем внятно...». Но подходя, таким образом, к вопросу о ломоносовском влиянии на русскую прозу с исторической точки зрения, Радищев не забывал при этом высоко ценить и древнерусских красноречивых проповедников, которые, по его словам, появились задолго до Ломоносова, однако «писали языком славянским» (см. «Слово о Ломоносове»).

Радищев находил образцовым «чистый и внятный слог» прозаических сочинений Ломоносова, а среди «бесчисленных

³ Ломоносов «считал „сожалетельным“ почти полное исчезновение из литературного употребления „славенских“ оборотов так называемого дательного самостоятельного» (В. В. Виноградов. Вопросы синтаксиса русского языка в трудах М. В. Ломоносова. Материалы и исследования по истории русского литературного языка, т II, Изд АН СССР, 1951, стр. 208).

красот» его стихотворных од сумел выделить как особенно поэтичный выдающийся по своей художественности приступ к оде 1747 года, посвященной Елизавете Петровне: это «пре-лестная картина народного спокойствия и тишины, сей сильной ограды градов и сел, царств и царей утешения. . .». Любопытно, что в пересказе Радищева эти стихи знаменитой оды приняли более славянизированный вид, чем в оригинале (ср.: «Царей и царств земных отграда, / Возлюбленная тишина, / Блаженство сел, градов отграда / Коль ты полезна и красна. . .»).

Таким же витийственным слогом старорусских риториков автор «Слова о Ломоносове» говорит о его жизни. «Подстрекаем науки алчною, Ломоносов оставляет родительской дом; течет в престольный град, приходит в обитель иноческих Мусс и вмещается в число юношей, посвятивших себя учению свободных наук и слову божию. . .».

Стереотипные, устойчивые словосочетания, встречающиеся в памятниках древнерусской литературы, повторены и в «Путешествии из Петербурга в Москву» большею частью в метафорическом значении, например: «*пепл и дым*» («Спасская полость», ср. в повести о разорении Батыем Рязани: «и дым, и земля, и пепел»), «*по валам жития человеческого*» («Крестьяны»). Писатель рисует образ «*лествицы, по которой разум человеческий нисходит долженствует*» («Подберезовье»), говорит о «*речах, ударяющих в ухо, подобно тимпанам*» («Спасская полость»).

Название *повесть* употребляется Радищевым (в главе «*Ажелбицы*») в старинном терминологическом смысле нраво-учительного *примера*, эпизода или же *притчи*, раскрывающей мораль.

Наставление «крестичьего дворянина» сыновьям продолжает линию древнерусских «поучений от отца к сыну», если не по содержанию, отвечающему условиям новой эпохи, то по изложению, полному всевозможных славянизмов, вплоть до цитирования молитв.⁴

Знаком Радищеву и символика, восходящая к глубокой древности. В «Спасской полести» рисуется выкованная из светлой стали «огромной величины змия»: она, «*конец хвоста в зеве держаща, изображала вечность*».

Использование словаря старорусской письменности и влияние ее фразеологии не могли, конечно, не затруднить стиля «Путешествия из Петербурга в Москву». Автору кое-где не

⁴ Ср. также перефразировку молитвы в рассказе о систербекском приключении (в главе «*Чудово*»).

удалось избежать необычайно тяжеловесных фраз, до смысла которых иной раз бывает трудно добраться (например, в «Подберезье»: «Но пары, в грязи омерзения почившие, уже вздымаются и предопределяются объяти зрения круг»).⁵

И в той же книге мы находим великолепные образцы стиля, выдержанного в древнерусской литературной манере и показывающие, как мастерски овладел им Радищев и насколько органически его усвоил. Приведем для примера несколько строк из описания бури на море в главе «Чудово»: «Сильное стремление валов отнимало у кормила направление, и порывыстый ветер, то вознося нас на мокрые хребты, то низвергая в утесистые рытвины водяных зыбей, отнимало у гребущих силу шестственного движения. . .».

В своей обличительной патетике Радищев равным образом широко использовал изобразительные средства древнерусской книжной речи. Вот как писал он в «Спасской полести» о толпе придворных, окружающих трон властелина: «Изжени сию гордую чернь, тебе предстоящую и прикрывшую срамоту души своей позлащенными одеждами. . .». Колонизаторов Америки он заклеймил следующими словами: «Злобствующие европейцы, проповедники миролюбия во имя бога истины, к корени яростного убийства завоевателей прививают хладнокровное убийство порабощения» («Хотиллов»). Торжественная «славяно-русская» речь слышится и в грозных обличениях, направленных против палача-помещика: «Прострите на сего общественного злодея ваше человеколюбивое мщение. . . ознаменуйте его яко общественного татя, дабы всяк, его видя, не только его гнушался, но убегал бы его приближения, дабы не заразиться его примером» («Вышний Волочок»). Пророчески звучит завешание будущим борцам с самодержавием: «Ярость мучителей твоих раздробится о твердь твою; и если предадут тебя смерти. . . ты поживешь на памяти благородных душ до скончания веков» («Крестыцы»).

К лексике и синтаксису «славяно-русского» языка Радищев, как видим, прибегал даже там, где решительно порывал с идейным наследием старины и восставал против пережитков средневековья в мировоззрении и общественных отношениях.

Если поучение детям «крестецкого дворянина» примыкает по своему жанру к ряду древнерусских памятников, включая

⁵ Ср. в этой же главе фразу, частью цитированную выше в другой связи. «На лестнице, по которой разум человеческий нисходит долженствует во тьму заблуждений, если покажем что-либо смешное и улыбкою соделаем добро, блаженны наречемся».

«Домострой», то по существу оно отвергает и опровергает обветшавшие домостроевские догмы. Свободомыслящего дворянина до глубины души возмущает семья, в которой «отец в сыне своем видит своего раба». «Но если, — говорит он, — в благоустроенном обществе нужно, чтобы юноши почитали старцев. . . то нет, кажется, нужды власть родительскую делать беспредельною». Еще больше претит ему власть косных обычаев и норм поведения, противоречащих истинной добродетели, но освященных авторитетом церкви и закона: «Не бреги обычаев и нравов, не бреги закона гражданского и священного, столь святые в обществе вещи, буде исполнение оных отлучает тебя от добродетели. Не дерзай николи нарушения ее прикрывать робостью благоразумия».

В главе «Подберезье» новгородский семинарист делится своими пытливыми размышлениями, изложенными типичным языком выученика духовной школы, витиеватым и тяжеловесным, впрочем, не без элементов просторечия, характерного для представителя этой среды («душенька моя набродится досыта»). Тем не менее по своим убеждениям он является вольнодумцем, резко протестующим против школьной схоластики, ложного академизма, оторванного от жизни классического образования, против суеверия, невежества и рабства. В радищевском семинаристе можно видеть прямого, хоть и отдаленного, предшественника тех разночинцев, выходцев из духовного сословия, которые несколькими десятилетиями позже вступали в ряды революционных демократов.

4

Две основных речевых традиции, сосуществующие в «Путешествии из Петербурга в Москву», — высокий «славяно-русский» слог и просторечие, — несмотря на напряженнейшую работу автора над языком своей книги, не были сведены им к стилевому единству. Писателю не удалось избежать разностильности, как не удалось в словесном выражении своих идей, впечатлений, переживаний побороть те невероятные трудности, которые неизбежно возникали вследствие недостаточной выработанности литературного языка в конце XVIII века.

Оформление фразы нередко стоило Радищеву, видимо, огромных усилий. На первой же странице вступительной главы «Выезд» он пишет, например, так: «Спокойствие упреждает нахмуренность грусти, распложая образы радости в зеркалах воображения». Пристрастие к метафорическим украшениям не обеспечивало надлежащей ясности изложения, как например:

«Скинь с них (страстей, — С. Е.) бразды томного благоразумия» («Крестьяны»). Нет надобности приводить другие примеры, но следует отметить, что неясностью, неточностью страдают даже некоторые включенные в «Путешествие из Петербурга в Москву» в виде цитат отрывки сделанных Радищевым же переводов из сочинений иностранных писателей (например, из Тацита в главе «Торжок»).

Интересно, вместе с тем, что таким затрудненным, усложненным, отяжеленным слогом Радищев иногда сознательно пользовался с той целью, чтобы создать впечатление резкого контраста при переходе к иной стилистической манере. Так, в знаменитом аллегорическом «сне» (в главе «Спасская полость») витиевато написаны риторические хвалы в честь верховного властителя, но вот в этом рассказе наступает перелом, появляется символическая фигура Истины-Прямозоры, и громоздкие фразы, с частыми и запутанными инверсиями, сменяются короткими, ясными предложениями: «Черты лица ее были суровы и платье простое. Глава ее покрыта была шляпою, когда все другие обнаженными стояли главами. Кто сия? — вопрошал я близ стоящего меня. . .». В главе «Хотилон», содержащей «Проект в будущем», имеется подобный же переход от тягучего славословия к сильной разоблачительной живописи, пользующейся точными и краткими предложениями: «Что видим мы? Пространный воинский стан. Царствует в нем тишина повсюду. Все ратники стоят в своем месте. Наивеличайший строй зрится в рядах их».

Язык публицистических и философских рассуждений Радищева воспринимается трудно, но читателя их прямо поражают многие замечательно четкие, чеканные, законченные формулировки, так выгодно, а местами и неожиданно выделяющиеся на общем фоне. В великолепные афоризмы отливаются любимые идеи Радищева о свободе печатного слова, о просвещении народа, о «священном даре» вольности: «Цензура сделана нянькою рассудка, остроумия, воображения, всего великого и изящного. Но где есть няньки, то следует, что есть ребята, ходят на помочах, от чего нередко бывают кривые ноги», «цензура с инквизициею принадлежит к одному корню; . . . учредители инквизиции изобрели цензуру, то есть рассмотрение приказное книг до издания их в свет», «священнослужители были всегда изобретателями оков» («Торжок»), «согласиться всяк должен, что тесные умы и малые души внешность поражать может» («Выдропуск»).

Разбросанные по главам «Путешествия из Петербурга в Москву» афоризмы о «незаконных сынах отечества» — «при-

дворных истуканах» (например, в главе «Выдропуск»: «Мы уничтожаем ныне сравнение царедворского служения с воинским и гражданским») напоминают изречения Стародума в комедии «Недоросль». Но Радищев идет дальше Фонвизина, направляя острие своей сатиры против самого источника зла — развращающего влияния царской власти.

Превосходны у Радищева отдельные крылатые выражения, как бы отчеканенные навеки: «гражданин будущих времен» («Хотиллов»), «раб духом, как и состоянием» («Медное»).

Некоторые его определения принимали вид острых парадоксов, например: «Но если во добродетели умереть можешь, умей умереть и в пороке, и будь, так сказать, добродетелен в самом зле» («Крестьяны»), «Таков есть закон природы: из мучительства рождается вольность, из вольности — рабство» («Тверь»).

Но парадоксальная форма изречений мало типична для Радищева. Добиваясь стройности, отшлифованности изложения, он больше всего заботился о строго последовательном, аргументированно-логическом развитии своих мыслей, о их внутренней расчлененности. Вот один образец: «Правила общежития относятся ко исполнению обычаев и нравов народных, или ко исполнению закона, или ко исполнению добродетели <...> Добродетели суть или частные, или общественные. Побуждения к первым суть всегда мягкосердие, кротость, соболезнование, и корень их всегда благ» («Крестьяны»). Автор строго придерживается в дальнейшем этого предварительного намеченного плана рассуждения, получающего форму трактата.

Но и самые трактаты Радищева лишены академической сухости. Установка его речи — ораторская даже там, где отчетливое логическое членение посылок и аргументов соблюдается пунктуально: «Власть моя да пекуся о воскормлении вашем и небрежу о нем; да сохраню дни ваши или расточителем в них буду; оставляю вас живых или дам умереть завременно» («Крестьяны»).

Он любит прибегать к обращениям, окрашенным сильной эмоцией: «О юность! услыши мою повесть»... («Яжелбицы»). «Окаменелые сердца! почто бесплодное соболезнование? О квакеры...» («Медное»). Автор обращается к читателю («Торжок»), к героям повествования (к Анюте из Едрова), к согражданам («Хотиллов»), к жителям Петербурга («Вышний Волочок»), к природе (О природа!.. — «София»).

Обращения переходят в воззвания, звучащие пламенным призывом: «О возлюбленные наши сограждане! о истинные сыны отечества! воззрите окрест вас и познайте заблуждение ваше» («Хотиллов»).

Речь прерывается так называемыми риторическими восклицаниями и вопросами, исполненными, однако, самого искреннего воодушевления: «О! горестная участь многих миллионов!» («Черная грязь»), «Но кто между нами оковы носит, кто ощущает тяготу неволи? Земледелец! кормилец нашей тощеты, насытитель нашего глада» («Хотиллов»), «Не потом ли, не слезами ли и стенанием утучнились нивы?» («Вышний Волочок»).

В наиболее патетических местах «Путешествия» слышатся лирические инвективы необычайной силы, следующие большею частью за размышлениями о рабстве крепостного крестьянства, за описаниями и рассказами о его бесправии и нищете: «Звери алчные, пиявицы ненасытные, что крестьянину мы оставляем? то, чего отнять не можем, воздух. Да, один воздух!» («Пешки»), «Вольные люди, ничего не преступившие, в оковах, продаются, как скоты! О законы!» («Городня»).

Эмоциональная взволнованность, лирические подъемы речи передаются, кроме того, посредством повторений как отдельных слов («Вообрази, вообрази, говорил повествователь мой... вообрази мое положение», «пускай меня посадят в темницу... пускай меня мучат, пускай лишают жизни» («Спасская полость»)), так и целых предложений («Извозчик мой затянул песню», «Извозчик мой поет» — «София»).

Внутренне эмоциональны и поэтому динамичны, полны движения лучшие повествовательные эпизоды «Путешествия». Таковы в особенности рассказы о сибирском заключении («Чудово»), о «государственном наместнике» — любителе «устерс» («Спасская полость»), о «чиновнике, закутанном в большую япанчу», оказавшемся жертвою несправедливости приказных, разом лишившемся своего состояния, жены, ребенка и вынужденном, не похоронив их, бежать от ареста («Спасская полость»), о приезде на почтовую станцию вслед за «гвардейским полканом», важного вельможи — «его превосходительства» («Завидово») и др. Несколько строчек из повествования о встрече в Завидове с этой «превосходительной особой» могут наглядно подтвердить сказанное о мастерстве Радищева как рассказчика: «Еще издали слышен был крик повожиков и топот лошадей, скачущих во всю мочь. Частое биение копыт и зрению уже неприметное обращение колес подымающеюся пылью толико сгустили воздух, что колесница его превосходительства закрыта была непроницаемым облаком».

Автору «Путешествия» знакомо употребление отрывочных, незаконченных, как бы разорванных предложений при изображении быстрого действия, а также сильных душевных движений

(например, в главе «София»: «Уснул и всё скончалось... Несносно пробуждение несчастному. О сколь смерть для него приятна. А естли она конец скорби...»).

Отрывочные, немногословные реплики чаще встречаются в диалогах, живость и натуральность которых в «Путешествии из Петербурга в Москву» уже были подчеркнуты. Динамичный, непринужденный обмен репликами происходит, например, в разговоре путешественника с новгородским купцом Карпом Дементыичем (в главе «Новгород»): «Я им отдал все мое имение. По три копейки на рубль. — Никак нет-ста, по пятнадцати. — А женин дом. — Как мне до него коснуться; он не мой. — Скажи же, чем ты торгуешь? — Ничем, ей, ничем... Старинной шутник, благодетель мой. Полно молоть пустяки; возьмемся за дело... Я не пью, ты знаешь. — Да хоть прикушай».

Так свежо и колоритно средствами речевой характеристики вырисовывается тип купца.

Живописны и тоже эмоциональны многие портреты и описания, набросанные пером Радищева. Лучшее из них — ставшее образцово-классическим — описание курной деревенской избы в Пешках. Только из скромности автор называет себя «худым живописцем» («Зайцово»). На самом же деле его зарисовки лиц и предметов, при всей своей краткости, сжатости, отличаются меткостью, выразительностью, реалистической точностью, определенностью. Двумя-тремя верными чертами он умеет дать живой портрет: «Приветливый вид, взгляд неробкой, вежливая осанка, казалось, не к стате были к длинному полукафтаныю и к примазанным квасом волосам» («Подберезье»).

Портретная живопись Радищева к тому же психологична: в чертах лица и наружности изображаемого персонажа просвечивают его душевные переживания. Таковы, например, образы сыновей крестницкого дворянина: «В старшем взоры были тверды, черты лица незыбки, являли начатки души неробкой и непоколебимости в предприятиях. Взоры младшего были остры, черты лица шатки и непостоянны. Но плавное движение оных необманчивый были знак благих советов отчих».

Психологичны и пейзажи Радищева. Таково в главе «Чудово» описание сначала тихой, светлой ночи на море, восхода солнца «на гладком водяном горизонте», а потом грозной, разбушевавшейся морской стихии. Эти картины мирной и бурной природы воспринимаются читателем как увиденные «глазами» рассказчика, как его переживания: сначала, в соответствии с характером пейзажа, — созерцательные, умиротворенные, затем — тревожные, наконец — полные смятения и отчаяния.

Непонятно, почему в научно-критической литературе о Радищеве принято утверждение, будто в «Путешествии из Петербурга в Москву» совсем «отсутствуют описания природы».⁶

5

Мало внимания обращалось исследователями на образительные средства языка «Путешествия», в частности на его эпитеты. Между тем самый выбор эпитетов обличает в Радищеве замечательного художника, умеющего (хотя и не всякий раз) найти самое меткое, незаменяемое, единственно нужное слово.

Так, он говорит о «трепетном молчании» придворных, о «косом виде неудовольствия» их. У них «искаженные взоры, в коих господствовали хищность, зависть, коварство и ненависть». Характеризуя их же, Радищев употребляет эпитет, принятый впоследствии Пушкиным: «Тусклый огонь ненасытности». Он говорит о «пресмыкающемся искусстве» придворных художников и поэтов, не осмеливающихся «возводить свои взоры выше очерченной обычаем округи» («Спасская полесь»).

Писатель презрительно отзываясь о «компании молодых господчиков» («Тосна»), о господах, насыщающих «праздний свой голод» на званых обедах («Спасская полесь»), об их «расслабленных желудках» («Выдропуск»), о «хвилах, робких и подлых душах», которым сродно «содрогаться от угрозы власти и радоваться ее приветствию» («Зайцово»).

Им противопоставляются люди с «упругими душами» («Крестьяны»), особенно люди из народа, крепостные крестьяне, сильные духом, но подавленные рабством, «стоглавное зло» которого клеймит Радищев («Хотиллов»). Крепостные — это «пленники в отечестве своем» («Городня»), но они бесконечно превосходят господ чистотой своей морали, как например едровская Анюта с ее «незастенчивой невинностью» («Едрово»).

Остановимся еще на нескольких примерах удачных эпитетов, найденных Радищевым. Он пишет: «отягченные (после сна, — С. Е.) взоры» («Чудово»), «ползущая гордость» («Новгород»), «непоколебимое равнодушие» кладбища («Слово о Ломоносове»), «нелепые кучи камней» (о пирамидах в главе «Хотиллов»), «любопытное шумление» дубравы («Спасская полесь»), «черная тяжесть» облаков («Чудово»).

⁶ См., например: Д. Д. Благой. История русской литературы XVIII в. Изд. 2-е, Учпедгиз, 1951, стр. 567. — В 3-м издании (стр. 466) это утверждение смягчено: «Вопреки жанру книги, в ней почти отсутствуют описания». — Прим. Ред.

В связи с ораторской интонацией речи ряда глав «Путешествия» стоит, видимо, прием нагнетания эпитетов: «... всё то, что не для своей совершаем пользы, делаем *оплошно, лениво, косо и криво*» («Хотиллов»); «*коварство, ложь, вероломство, сребролюбие, гордость, любомщение, зверства*» («Крестьяны»).

Сравнения и уподобления, использованные в «Путешествии из Петербурга в Москву», не так многочисленны, но довольно разнообразны по своему характеру. Избегает Радищев лишь стереотипных сравнений, если и встречающихся у него, то только изредка (например, «как дробинка в море» — «Спасская полость»). В подборе сравниваемых и уподобляемых образов видна опять прежде всего творческая инициатива писателя.

Сравнения берутся Радищевым из повседневного быта, привлекая тогда к себе внимание своею смелостью, остротой (например, в главе «София»: путешественник, вынув из кармана подорожную, идет с нею к почтовому комиссару, «как ходят иногда для защиты своей со крестом»).

Материал для сравнений дают иногда и литературные произведения.

Литературностью (в духе ранней романтической трагедии) отзывается уподобление города с его бесчеловечными нравами «жилищу тигров»: «...единое их веселие грызть друг друга» («Чудово»); ср. в «Спасской полести»: «О варвары, тигры, змеи лютые, грызите сие сердце, пускайте в него томный свой яд...».

Охотно употребляет Радищев прием развертывания сравнений, например в главе «Чудово»: «Как в темной храмине, свету совсем не приступной, вдруг отверзается дверь и луч денный, влетев стремительно в среду мрака, разгоняет оный, распростираясь по всей храмине до дальнейших ее пределов, — так, увидев суда, луч надежды ко спасению протек наши души».

Такие развернутые сравнения иногда, будучи оформлены в независимые, законченные предложения, получают как бы самостоятельное значение и заслоняют собою предмет или понятие, поясняемые сравнением. Так, в главе «Торжок» мы читаем: «Прочному и твердому зданию довольно его собственного основания; в опорах и контрфорсах ему нужды нет. Если позыбнется оно от ветхости, только тогда побочные тверди ему нужны». Все эти архитектурные детали, оказывается, нужны были лишь для доказательства мысли об условиях прочности, твердости государственной власти.

Замечательно по своей яркости известное уподобление народного восстания грозному потоку:

«Поток, загражденный в стремлении своем, тем сильнее становится, чем тверже находит противостояние. Прорвав оплот единожды, ничто уже в разлитии его противиться ему невозможно. Таковы суть братья наши, во узах нами содержимые. Ждут случая и часа. Колокол ударяет» («Хотиллов»).

Образ революционера, борца за законные права общества, рисуется посредством сравнений и уподоблений, имеющих величественный, героический характер: «Пребудь незыблем в душе твоей, яко камень среди бунтующих, но немощных валов. Ярость мучителей твоих раздробится о твердь твою» («Крестыцы»).

Уже из приведенных примеров можно было видеть склонность Радищева к метафорическим выражениям, метафорическим эпитетам и уподоблениям. Метафоры, излюбленные автором «Путешествия», в большей степени, чем эпитеты и сравнения, были характерны для старой литературной манеры, казавшейся архаичной даже в те времена.

«Стрелы карающего грома» («Спасская полость»), «пасутся рабы железом самовластия» («Новгород»), «сладкий при насаждении <...> корень произнес наконец плод горький» («Выдропуск») — вот метафоры, типичные для стиля «Путешествия из Петербурга в Москву». В той же манере выдержаны частые в книге Радищева метафорические выражения, образованные с помощью родительного падежа существительного: «хижина уничтожения» (см. в главах «Спасская полость» и «Крестыцы»), «скипетр жестокости», «рамена невинности» («Зайцово»), «чаша рассудка» и «чаша страстей», «зерцало истины», «риза коварства» («Крестыцы»), «убийство порабощения» («Хотиллов»).

Метафорические образы заимствуются из Библии («тогда все плевелы, тогда все изблевания смрадность свою возвратят на извергателя их» — глава «Торжок») и даже, по-видимому, из таких своеобразных памятников старинной письменности, как лубочные картины с объяснительными текстами: к широко распространенному тогда лубочному изображению «колеса фортуны» восходят как будто настойчиво повторяющиеся в «Путешествии» размышления о том, что «на свете всё колесом вертится» («Зайцово») и что «мир нравственный» подобен «колесу» («Подберезье»). Из других источников нам известно, что Радищев интересовался народными лубочными картинками и знал их.⁷

⁷ Ср. мою статью «Творчество А. Н. Радищева и народная литература XVIII в.» («Ученые записки Московского государственного педагогического института им. Потемкина», т. XX, 1953, стр. 10—11).

Для творчества Радищева характерны, конечно, не «заимствования» откуда бы то ни было, однако нельзя не заметить, что его самостоятельные творческие поиски наиболее выразительных, живописных, художественных речевых средств нередко намеренно стилизуются им в том же старомодном вкусе. Таковы радищевские неологизмы: *уподроблю*, *единожитие* (рядом с *общежитием*), *утцетинился*, *чиностояние*, *тощета*, *неуподобительный*, *лелеятли*, *распламеняя*, *столично* (в смысле многолично, от слова *лицо*), *сочетование*, *ужасноносный*, *ползущество*, *последственницы* и пр.

Для выражения всех разнообразных оттенков своих чувств и идей Радищеву не доставало слов, бытовавших в тогдашнем литературном языке; писатель упорно, настойчиво, мучительно ищет новые слова и словообразования. Созданные им в «Путешествии из Петербурга в Москву» неологизмы не привились впоследствии, можно думать потому, что запрещенная книга, имевшая в свое время слишком ограниченное распространение, едва ли могла оказать сколько-нибудь широкое влияние на словарь литературного языка. Между тем, такие слова, как «лелеятель» или «единожитие» в качестве необходимого антонима к «общежитию» могли бы войти в употребление; существительное «сочетование» стало общеупотребительным в несколько иной грамматической форме (сочетание).

Даром творчества слова отмечены в особенности, как видели мы, эпитеты Радищева, но его неустанные искания в области словесного мастерства были многообразны, хотя и не всегда одинаково удачны.

Среди других бесспорных достижений его как писателя-художника следует равным образом оценить интересные опыты ритмической организации поэтической речи. Радищев, тонко чувствовавший ритм и гармонию стиха, дал в своей книге также образцы плавной, ритмической прозы, окрашенной обычно приподнятым, возвышенным настроением. Вот отрывок из главы «София»: «Лошади меня мчат; извозчик мой затянул песню по обыкновению заунывную... Все почти голоса таких песен суть тону мягкого. На сем музыкальном расположении народного уха умеи учреждать бразды правления. В них найдешь образование души нашего народа. Посмотри на русского человека; найдешь его задумчива».

Такой мерной, льющейя из глубины чувства, проникновенной речью писатель передает самые задушевные думы и впечатления — обычно устами «чувствительного путешественника». Необходимо лишь подчеркнуть, что «путешественник» Радищева — вовсе не сентименталист и типично-сентиментальная

фразеология отсутствует даже в его наиболее чувствительных излияниях.

Напротив, автор ставит своего героя в положения, как бы пародирующие шаблонные романтические ситуации сентиментальных повестей, начиная их с любовных завязок. Вот, например, как по-своему интерпретирует Радищев сцену первой встречи героя с простодушной «пастушкой» (в главе «Едрово»): путник, молодой дворянин, заговаривает с приглянувшейся ему крестьянской девушкой Анютой — и вот что слышит в ответ: «Пооди сударь, прочь от меня, оставь бедную сироту, — сказала Анюта, заплакав. — Кабы батюшка жив был и это видел, то бы даром, что ты господин, нагрел бы тебе шею». Едровская Анюта (в отличие хотя бы от бедной Лизы) протестует и против намерения «барина» войти к ней в дом: «Да вот наш двор. . . Проходи мимо, матушка меня увидит и худое подумает».

Представленный в главе «Городня» тип барчука напоминает Эраста, отчасти предвосхищая его: «Он много имеет хороших качеств, но робость духа и легкомыслие оные помрачают». Своего Эраста, погубившего Лизу, Карамзин осуждает, но, в конце концов, призывает читателя к всепрощению: «Теперь, может быть, они примирились!» — восклицает он в заключение. Радищевский барчук вызывает, напротив, только отвращение.

В главе «Медное», рисующей тяжелую сцену аукциона крепостных, есть одно место, где Радищев прямо отталкивается от бесплодной и слезливой чувствительности сентиментализма: «На лестнице встретился мне один чужестранец. — Мой друг. . . Что тебе сделалось? ты плачешь! Возвратись, — сказал я ему, — не будь свидетелем срамного позорища».

Той «чувствительности и состраданию», которые вызывались в авторе «Путешествия из Петербурга в Москву» срамным зрелищем бесправия и угнетения народа, были органически чужды сентиментальная стилистика и фразеология.

Радищев писал (в главе «Крестьяцы»), что «упругость духа вольности» переходит «в изображение речи». Своеобразие языка «Путешествия из Петербурга в Москву» — это, как видно, понимал сам автор — отвечало тому духу свободы, выразителем которого был наш великий писатель-революционер.
